

К. Д. БАЛЬМОНТ



БАЛЬМОНТ ушел из мира живых давно, за десять лет до своей физической смерти. Он страдал душевной болезнью, о нем забыли, и мало кто знал, как борется со смертью непокорный дух Поэта, как мучительна и страшна была его десятилетняя агония.

В прошлом, в годы своей всероссийской славы, Бальмонт был горд, заносчив, в гневе несдержан. Человек, стихи которого заучивала наизусть вся Россия, был бесконечно одинок, может быть потому, что Бальмонта-человека просто нельзя было любить. Жил он в каком-то странном, выдуманном им мире музыки и ритма, среди друидов, языческих богов, шаманов, в мире колдовства, солнца и огненных заклинаний, в пышном и несколько искусственном нагромождении красок и звуков.

Не помню теперь, когда и при каких обстоятельствах мы познакомились. Первая, сохранившаяся у меня коротенькая записка поэта относится к 1926 году:

”...Вы указываете время до трех часов дня. Трудно. Я засыпаю в 3 часа ночи, в 6 часов утра меня будит противный шум улицы, и долго я лежу с открытыми глазами, безгласно проклиная Город. Затем вторичный тяжелый сон — и, конечно, утро мое запоздалое. Заходите лучше, когда сможете, часов в 6 вечера.

Жму руку. Не сердитесь...”

Бальмонт жил в эти годы неподалеку от Люксембургского сада, совсем рядом с Тургеневской Библиотекой. Жил он замкнуто, почти нигде не появлялся. Ненавидел город, шумные улицы, бесполезных людей. К тому же, это были тяжкие годы заката — поэзия его оказалась вдруг ненужной, и к человеку, который написал так много замечательных стихов, новые, не всегда "молодые" поэты с Монпарнасса относились с снисходительным пренебрежением. Бальмонт от всего этого страдал невыносимо и бывал счастлив только вдали от всех, наедине с самим собой, у моря.

— Это, — великое счастье и великая душевная чистота — быть одному, — говорил он.

Почему-то, когда я шел к нему через весенний Люксембургский сад, вспомнилась одна наша давнишняя встреча на берегу Атлантического океана. Бальмонт жил в то лето в деревушке, затерянной в песчаных дюнах, среди которых одиноко высился белый маяк. Случайно я попал на этот пустой, унылый, бесконечный пляж. В первый же день мы встретились на берегу, в час отлива. Он шел, глубоко задумавшись, слегка припадая на одну ногу, как раненая птица. (В молодости Бальмонт пытался неудачно покончить самоубийством, выбросился из окна и при этом сломал себе ногу). На влажном песке, у самой воды, оставались глубокие следы. Поэт несколько не удивился встрече, словно ждал ее и сказал, после приветствия, слегка нараспев:

— Вы — многозоркий!

И, должно быть, поймав мой вопросительный взгляд, перевел с поэтического языка на обыкновенный: в том, что я писал, ему нравилась некоторая наблюдательность.

Мы шли по пустынному берегу и Бальмонт читал свои певучие стихи:

И свадебным и похоронным звоном
Вхожу в неисчерпаемое Море,
Вокруг меня — лазурной рамой — Вечность.
В моей судьбе — камней редчайших россыпь
Жива, живу, и музыкой мгновенья
В моей крови любая плещет капля.

Он жил в небольшом домике, на краю деревни, там, где

пески совсем вплотную подходят к рыбацким хибаркам. Когда спадала жара, Бальмонт уходил вдоль моря, по пляжу, в сторону старинного, многобашенного протестантского города Ларошель. Иногда он присаживался на просмоленную барку, лежавшую на берегу, ждал прилива, и когда издали, с глухим и ровным гулом подходил океан, затапливал пески и с ревом разбивался у гранитной набережной, душа поэта наполнялась мистическим ужасом, — "неисчерпаемое Море" манило и пугало его.

Позже, этим же летом, он прислал мне в Париж длинное письмо. Вот начальные его строки:

"Вы спрашиваете, как я живу, что думаю, что делаю.

Трудные вопросы, но постараюсь дать полные и точные ответы. Однако, живу ли я точно или это лишь призрак, — остается для меня самого не совсем определенным. Мое сердце в России, а я здесь, у Океана. Бытие неполное.

Я радуюсь возможности жить не в городе, особенно не в Париже, который последние пять лет мне стал ненавистен — и оттого, что я не выношу грязного воздуха и глупого грохота, — и оттого, что зарубежные русские или потопли в своей беде, или занимаются политическим переливанием из пустого в порожнее — и оттого, что современные французы плоски, неинтересны, душевно бессодержательны. Здесь с утра до вечера, и с вечера до утра, если бодрствую всю ночь, я слышу лишь один звук — широкий гул Океана, — и я вижу лишь два зрелища — простор полей и в особенности синий простор Океана..."

**
*

"Политическое переливание из пустого в порожнее"... Он не любил политики, чуждался ее и, кажется, считал политику ответственной за все свои личные несчастья и за то, что стихов его больше никто не читал.

Вот характерное для Бальмонта письмо, которое я получил от него в сентябре 1926 года:

"Я живу в лесном местечке, писал он, среди сосен, на берегу Океана. Пишу стихи, пишу прозу. Появляется моего в печати очень мало, ибо Русские зарубежные газеты предпочитают всякую полемическую болтовню и бессильные покуше-

ния на юмористику (ни тем ни другим я не занимаюсь, ибо спорт вообще не люблю, а спорт неопрятный наименее). В это самое время лучшие американские газеты "Бостон Транскрипт" и "Нью Йорк Таймс", а также итальянские ищут моего сотрудничества — я там и печатаюсь. Все это грустно. И если большевизм в России лишь собирается умирать, зарубежная Россия помирает, духовно, весьма усердно".

Но в юности он этим "спортом" пытался заниматься, был революционером, эмигрировал, писал антимонархические и не очень удачные стихи и до конца жизни считал себя человеком левым, что не мешало, однако, высказывать ему подчас мысли необычайно реакционные.

Однажды он рассказал мне:

— В Москве меня вызвали в Чека. Дама-следователь, подслеповатая, в пенсне, спросила:

— К какой политической партии вы принадлежите?

Я ответил кратко:

— Поэт.

**
*

Помню вечер на парижской квартире Марины Цветаевой. Мы сидели вдвоем, в сумерки, и говорили о поэзии. Была сырая осень, в квартире еще не топили, Цветаева зябко куталась в оренбургский платок.

Говорили о Блоке ("Он был нездешний. Он пришел с того света") о Брюсове, о Бальмонте.

— Бальмонт был не русский, — сказала Цветаева.

— Как? А его совершенно пушкинское: "Есть в русской природе усталая нежность"?

— Да. Хорошо. Но это — исключение. Бальмонт в русской поэзии — заморский гость. Мне всегда казалось, что он говорит и пишет на каком-то иностранном языке. На каком — не знаю. На бальмонтском.

**
*

Он мог быть вспыльчивым, бешеным, невыносимо грубым, но мог быть и очень ласковым, приветливым. Впрочем, даже в

эти хорошие дни не терял своего высокомерного отношения к людям.

Однажды он подарил мне свою фотографию и написал на ней стихи:

Хоть капля я, но путь всех капель — в море.

Был я тогда совсем молодым, начинающим литератором, самомнением никогда не страдал, но все же в душе немного обиделся: ну, знаю, что я в литературе — капля, но для чего же нужно было это так подчеркивать?

Много лет спустя в "Воспоминаниях" Бунина прочел о Бальмонте: "Когда-то, в журнале Брюсова, в "Весах", называл меня в угоду Брюсову, "малым ручейком, способным лишь журчать".

Я после этого успокоился...

К слову сказать, Бальмонт никого не любил, а Брюсова ненавидел лютой ненавистью. По свидетельству Цветаевой, в день своего отъезда из России, 12 июня 1920 года, уже стоя на грузовике, Бальмонт на прощанье крикнул провожавшему его имажинисту Кусикову:

— С Брюсовым не дружите!

**
*

Сейчас не могу вспомнить — кажется, окно парижской комнаты Бальмонта выходило в чужой сад, или на верхушки платанов соседнего бульвара Пор-Руаяль, но первое, что он показал мне широким, горделивым жестом, — это были верхушки деревьев. Так утопающий в золоте магараджа показывает гостям свой сад с райскими птицами.

— Я уезжаю. Надолго, — сказал Константин Дмитриевич. — Я много прожил на земле, много видел людей, бывал и раньше в изгнании и пришел сейчас к заключению: душа умерла. Здесь больше нет ключа живой воды, нет служения, и я не знаю, что выйдет из наших жертв, и будут ли они когда-нибудь нам засчитаны.

Я познал первую горечь изгнания еще в 1902 году. После избиения манифестантов казаками я прочел на вечере мое стихотворение "Маленький Султан". Слышали ли вы его когда-нибудь?

Это было в Турции, где совесть вещь пустая,
Где царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый, маленький Султан.

Обыск. Высылка. Я уехал в Англию переводить Шелли. Потом в Париже я застал Максимилиана Волошина и С. Л. Полякова-Литовцева. Они жили дружно, бедно и трогательно, всем друг с другом делясь. Второе изгнание, после 1905 года, продолжалось семь лет... И сейчас — третье. Признаюсь, я не нахожу удовольствия быть изгнанником.

Бальмонт вдруг разволновался и, закинув назад голову, — лоб его от волнения покрылся красными пятнами, начал отрывисто говорить:

— Я не знаю, где для меня было больше страданий: в России, где я три года подряд голодал, или здесь. Здесь нельзя дышать, здесь просто задыхаешься. Уехать в Россию? Я не хочу жить в непосредственной близости к "начальству" и не приемлю насилия...

**
*

Зимой, на писательском балу в Отеле Лютеция, мы сидели вдвоем за столиком. Перед нами стояла бутылка белого бордо. Бальмонт потягивал вино из своего бокала, быстро хмелел и все читал стихи, — я любил слушать его певучий, какой-то носовой голос.

Буфетный лакей, томившийся без дела или желавший поскорее освободить столик, подошел без приглашения и положил на скатерть счет.

И здесь я увидел страшного Бальмонта. Он побелел, поднялся во весь рост, бешено сверкнул глазами и, подняв бокал с вином, не сказав ни единого слова, разбил его о голову лакея...

Позже такие случаи участились, и его уже боялись приглашать в семейные дома и на литературные вечера из опасения скандала. Должно быть, это было начало той длительной душевной болезни, которая привела Бальмонта сначала в больницу, потом в Дом Отдыха матери Марии, где он прожил

последние годы своей тяжелой жизни, — притихший, ничего больше не сознававший, никогда больше не улыбавшийся.

**
*

Он мог говорить о себе в третьем лице:

— Поэт хочет любить!

Охотно декламировал Есенина, Ахматову, Цветаеву. Об Ахматовой говорил:

— Я знал ее еще в Петербурге. Она была тогда прекрасной женщиной: тонкое лицо, полное одухотворенности, гибкое, змеиное тело, и вся она походила на египетскую плясунью.

Он мог рассказывать часами о своих странствиях, о лесах Явы, об австралийских просторах, о священных танцах Индии, о малайских заклинаниях, ночных ритуалах "вуду". У него столько накопилось, он так много в жизни видел! Поражала любознательность Бальмонта, его жажда знания, его неутомимая работоспособность — он писал целые ночи напролет, он говорил, что ночь — это рабочий день Поэта. По существу, Бальмонт был великим тружеником, он не ждал вдохновения или "посещения Музы", он писал регулярно, по многу часов каждый день, всю жизнь, и писал с необыкновенной быстротой. Что стало с множеством его неопубликованных рукописей?

Он был не такой, как все люди, отличался от других не только душевно, но и внешним видом. Казалось, он сошел с полотна Рембрандта. Его часто сравнивали с испанским грандом, — Испания была необыкновенно ему близка и, кажется, он культивировал в себе внешнее сходство с рыцарем Гойи или средневековым трубадуром. Читая, он откидывал назад голову. У него был высокий, открытый лоб, копна рыжих волос, к которой в последние годы начала прибавляться седина и рыжая заостренная борода. Глаза внезапно загорались и быстро потухали, — они были странного, зеленоватого оттенка, такого же, как большой изумруд в его галстук.

В последнюю нашу встречу, когда Константин Дмитриевич был по-настоящему уже болен, подавлен душевно, как-то особенно высокомерен, словно бросал вызов всему миру, он прочел мне мрачную поэму Эдгара По о "Вороне". И я

слышу еще сейчас его голос: рыкающий, неровный, резкий и в то же время певучий:

И сидит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон вещий.
С бюста бледного Паллады не умчится никогда,
Он глядит, уединенный, точно демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,
И душа моя из тени, что волнуется всегда,
Не восстанет — никогда!

**
*

Мне рассказывали: Бальмонта хоронили глубокой осенью. Свеже вырытая могила была наполовину затоплена водой. Так, в эту холодную и мутную воду и опустили гроб Поэта.